



Иван Алексеевич Бунин

Пустыня дьявола
(Тень птицы #8)

Содержание

#1	0005
Комментарии	0024

Иван Алексеевич Бунин
8. ПУСТЫНЯ ДЬЯВОЛА
(Из цикла «Тень птицы»)

«Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему...»

Глядя с крыш Иерусалима на каменистые окрестности — чаще всего на восток, на пустыню Иудейскую, — каждый раз вспоминаю я эти слова, — пролог величайшей из земных трагедий.

Дьявол, Азazel, имя и образ которого так и остались тайной, был издревле владыкой пустыни. Это он обитал в ее знойном серо-каменном море, некогда взбудораженном подземными силами и навсегда застывшем. Это ему каждый год — в десятый день седьмого месяца — посылали левиты и первосвященники Козла Отпущения — от лица всего Израиля, за все грехи его. И не странно ли, что именно оттуда прозвучали первые глаголы предтечи!

После бури и молний Бог пришел в пещеру Илии в сладостном веянье ветра. Сладостным ветром было и пришествие в мир Иисуса. Но лежала «секира при корне дерева». Жуткими пророчествами возвестил предтеча о грядущем.

щем за ним.

Не было тогда города, равного богатством и красотой Иерусалиму. Из Яффы были видны его здания, блиставшие золотом и мрамором: «Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих».

В тишине зеленых долин, в мирных людных селениях протекла молодость Иисуса. Но в первые же дни служения своего должен был он отдать дань пустыне. Он крестится — и уже готов раскрыть уста, дабы благовествовать миру величайшую радость. Но — «Дух ведет его в пустыню», в царство Азазела, тех ветхозаветных, Богом проклятых мест, где «скрылся Каин, жаждущий крови брата своего». «И был Иисус там сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями».

Пустыня видна с крыш Иерусалима. Пустыней называется только тот скат, та дикая и от века бесплодная вулканическая страна, что за Элеоном, эти растрескавшиеся от жгучего солнца бугры и перевалы, усеянные колючками и гольшами, волны и впадины бывших землетрясений. Но разве власть Азазела не простирается и на тропически-знойный

дол Иордана, — эту глубочайшую в мире измененность, с ее смертоносными лихорадками и воистину мертвыми водами, одно дыхание которых убивает все живое?

Небо нынче нежное, бледно-голубое. Небо и солнце затуманены дыханием полдня, сухого, горячего, душного. Жаром веет от старого каменного города, его узких и грязных базарных ходов под сплошною кровлей сизо-песочного цвета. Одинокая пальма, возвышающаяся на южной окраине, опустила свое неподвижное опахало. Тускло темнеют куполы Гроба Господня и мечети Омара. Тысячи черных стрижей кружат, сверлят полдневную тишину скрипучим верезжанием. И море пепельно-сиреневых холмов, простирающееся окрест, дремлет, теряется в мгlistой суши...

Побледнела даже сказочно яркая бирюза у подошвы Моава.

II

После полдня тянет легкий ветер, небо, воздух, солнце — все становится ярче, яснее.

За иссохшим руслом Кедрона дорога поднимается — мимо погребальной пещеры Богоматери, Гефсиманского сада и гробниц Аве-

салома и Иосафата, по каменистым склонам Элеона, среди несметных плит еврейского некрополя, стоящих как раскрытые книги, испещренные крупными письменами.

Есть ли в мире другая земля, где бы сочеталось столько дорогих для человеческого сердца воспоминаний?

Гроб Мариам! У стен сада, столь любимого сыном, в ложе кремнистой долины, под сводами древнего полуподземного храма, во тьме которого блещут огни, оклады и самоцветы, почилла она, простая женщина из Назарета, венчанная высшею славой — земной и небесной.

А русло Кедрона? Это дол Иосафата, место грядущего Страшного суда, великая житница Смерти. Нет правоверного иудея и мусульманина, который не полагал бы несказанной радостью быть погребенным в этой юдоли и не верил бы, что и всех лишенных этой радости созовет в нее Господь в день суда своего. Он ведь сказал устами Иоиля: «Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафатову».

Солнце уже клонится к западу, за Иерусалим. От его восточной стены пала тень. Но

ослепительно-золотисты скаты Элеона, дорога, извилисто прорезанная по ним, плиты и гробницы. Золотиста лазурь над Кедроном и горой, золотисто-песочного цвета ястреба, реющие над нами, трепещущие своими острыми, в черных ободках крыльями: любят они эти скаты, любят сушь пустыни, в которую медленно вступаем мы, огибая среди запыленных олив Элеон.

За Элеоном — Вифания. Это уже преддверие пустыни. Несколько старых верблюдов в грязно-рыжей сухой шерсти загораживают дорогу на повороте, грубым видом своим говоря о патриархальных скитаньях в камнях и песках. Но кругом еще мирно и весело. Чист и силен предвечерний свет, дали ясны, небо бездонно, склоны и холмы в садах и виноградниках. Даже тощие посевы зреют кое-где на глинистой почве между ними. И Абудис, что направо, и Вифания, что налево, — несколько кубов из серого булыжника, окруженных смоковницами, огромными кактусами, запыленными терновниками; в крутых, кривых и узких проходах между ними всюду сор и тряпки, полуголые черные дети, слепцы

и убогие. Но как все-таки должны были радоваться после пустыни их сады и люди!

И живым кажется образ Иисуса. Сколько раз подходил он сюда, похудевший, побледневший за дорогу в пустыне! Здесь жили друзья его. О древности могилы Лазаря говорят те камни времен Ирода, из которых сложен вход в могильную пещеру, куда спускаются узкой холодной шахтой, со свечой в руке. Подлинней же всего древность того пути, что ведет от Вифании в страну Азазела глубокой, извилистой и страшной в своей мертвенности лощиной Эль-Хот. Этот путь неизменен от века. Иных сносных путей в пустыне Иудейской нет, не было, да и не могло быть, ибо только на этом пути есть источник, — источник Апостолов, — без которого немислимы переходы по ней.

От Вифании начинается спуск, неуклонное падение. И страна, лежащая окрест, сперва поражает своей красотой, волнует радостью, обманывает, как искуситель.

На одном из скатов за Вифанией мы останавливаемся, очарованные. Воздух так прозрачен, точно его совсем нет. И пустыня, ка-

менным волнистым морем падающая к Иордану, кажется так мала! Как серебристо-голубой туман — далекая и неоглядная долина Иордана. Южное устье ее налито сейчас таким густым и ярким аквамарином, который кажется неестественным на земле. А Моавитские горы похожи на великую грозовую тучу против солнца, заступившую весь восток и ни с чем не сравнимую по нежности, воздушности. Но минута — и это видение исчезает надолго, надолго...

Мы теперь в стране, лишенной всякого очарования, — если не считать редких пятен огненного мака, кое-где оживляющего ее. Резкими, крутыми изломами въется и падает дорога с возвышенности на возвышенность. Быстро замыкается горизонт скалистыми и глинистыми ковригами, разделенными такими же логами... Мы уже давно в глубоком, извилистом ложе потока, иссохшего в незапамятное время, и известковая дорога, пробитая здесь тоже с незапамятного времени, поминутно переходит с одного бока на другой. Ни единого живого существа, кроме ящериц, не замечает глаз и не слышит ухо, гробовая ти-

шина стоит над этой страной, столь бесплодной, что даже древнейших кочевников ужасала она, навеки связанная с образом незримо Обитающего в ней. Недаром бедуины еще и до сих пор складывают вдоль Вади-эль-Хот пирамидки из щебня — в знак заклятия темных сил пустыни. Нет никакого сомнения в правоте тех, что называют этот путь именно тем, по которому, до самой таинственной «середины» его, провожали левиты жертву Аззелу. Какой же ужас должен был охватывать проходящих здесь при виде Иоанна, решившего разделить его обитель, когда внезапно, во весь свой рост, с громовыми глаголами, появлялся он перед ними из-за камней, в одежде из верблюжьего волоса! И что должно было испытать сердце Иисуса, обреченного провести здесь столько ночей — с их призраками, с лихорадочно-знойным ветром от Мертвого моря!

III

В глубокой котловине, из которой видны только жесткие очертания окрестных бугров да вечернее небо, белеет хан, — нечто вроде каменного сарая, — и жарко блестит при низ-

ком солнце вода возле него. Это место, где не раз отдыхал Иисус. Это «источник Апостолов», или, по-древнему, источник Солнца, ибо не могли не посвятить древние эту «жизнь пустыни» богу жизни. Три бедуина, без плащей, с черными палками в серебряных обручах, стоят возле худых осликов и поджарых потных лошадей под седлами, с жадностью пьющих. Два сидят на пороге хана и курят, пристально глядя на нас черными византийскими глазами. Эти глаза ровно ничего не выражают, но кто знает, что на уме у этих измаильтян?

Те, что у источника, — народ оборванный и невзрачный. Сидящие на пороге — дело иное. И особенно один из них. Он неподвижным взглядом следит за нами, пока мы поим лошадей. Потом, ни на йоту не изменяя лица, кидает своему спутнику какую-то короткую гортанную фразу, совершенно не шевеля губами и так бесстрастно, точно это не он говорит, а кто-то внутри его. И поднимается во весь свой громадный рост. Ноги его, обутые в стоптанные сапоги, очень длинные и слегка кривы, голова мала, откинута назад. Он на

редкость худ, одежды на нем без числа. По плечам висят концы белого шерстяного платка, накинутого на голову и резко оттеняющего черноту глаз, сизый загар маленького жесткого лица, блестящую смоль редкой жесткой бородки. Тонкая, цвета мумии, шея обмотана шелковым лиловым платком. На теле — белая рубаша до колен, поверх рубашки бланжевый шерстяной халат в синеватых полосках, поверх халата — кубовая кофта на вате; и все это под широкой и длинной хламидой из черно-синей шерсти. Он идет, поправляя одной рукой заткнутые за широкий пояс из шали кремневые пистолеты и кинжалы, а другой — карабин за плечами.

— Откуда?

— Из Газы.

— А куда?

— В Иерусалим.

Но почему же, севши на свою резвую, злую и поджарую лошаденку, он поворачивает за нами? Мы едем на изволок рысью, — он не отстает. Мы прибавляем рыси, прибавляет и он, расширяя ничего не выражающие глаза и блестя зубами в ответ на наши удивленные

взгляды... И вдруг, поравнявшись со мной, су-ет мне в руки медный латинский образок. Он кричит, что это золото, и просит за него всего десять франков. Соглашается, впрочем, и на два. А получив их, круто поворачивает и исчезает за холмами и буграми, по которым уже синеют вечерние тени.

Вечернее низкое солнце все реже блещет на перевалах. Временами, из боковых оврагов и ущелий, из-за скал и известковых бугров, дует ветер, — порывистый, как дыхание горячечного. И только топот копыт раздается в гробовой тишине окрест, в скатах вдоль извилистого дна Вади-эль-Хот. «Отсюда начинается дебрь самая дикая, — говорит один старинный паломник. — Эта дорога есть древняя, проложенная самою природою. Иосиф Флавий упоминает о дикости ее. Невступно через два часа от Иерусалима мы поднимались на гору, на вершине которой видны остатки хана или гостиницы Благого Самаритянина. Это место называлось издревле Адомим, или Кровавое, по причине частых разбоев, здесь происходивших...» И глубокая тоска охватывает душу на этой горе, возле пустого хана, при

гаснущем солнце. Вот она, эта «середина» пути, Бет-Гадрур, где бросали на произвол судьбы жертву Азазелу, — известковый перевал, поразивший некогда воображение самого Иисуса и создавший такую трогательную притчу! На этой «середине пути», который считался путем в преисподнюю, плакал сам прародитель, лишенный Эдема...

Чем дальше от Гадрура, тем все круче падает в провалы и ущелья известковая дорога, а с перевалов уже видно, что окрестные бугры изменили свой вид и состав, — стали конусообразными, похожими на потухшие вулканы, однообразного верблюжьего цвета. Уже несколько раз открывалась перед нами и долина Иордана, поражая обманчивой близостью своего пустынного, серо-блестящего от соли пространства, по которому, вдоль узкой реки, вьется темная лента зелени. Пространство за Иорданом, горы, кажущиеся теперь еще более похожими на тучи, и синее устье Мертвого моря ярко озарены низким солнцем. Но уже почти до самой середины долины достигает тень от Иудейской пустыни, обрывающейся над Иерихоном высокими скали-

стыми стенами. Тень и вокруг нас, — на всех буграх и во всех котловинах.

Многих обгоняем мы теперь, столь же диких и нищих, как в дни доисторические. Вот опять идут верблюды и за ними — идумейцы, в уголь сожженные ветрами и голодом, в одних кубовых линючих балахонах, их полуголые дети, облезлые собаки и с отрочества состарившиеся жены с лениво-скорбными, темными, как древнеаравийские предания, глазами. Вот черный и губастый старик в одной грязной рубахе, раскрытой на груди. Он сидит на ослике, гонит его, волоча по земле свои черные босые лапы. Вот верховой турецкий солдат, с карабином наперевес, зорко оглядывающий окрестные ущелья и овраги... Все спешат в Иерихон — единственное человеческое жилье, единственный оазис во всей Иорданской долине. И как только стемнеет, ни души не останется на этой страшной древней дороге.

IV

Ночи здесь сказочно-прекрасны. Они околдовывают трижды мертвую страну лихорадочными сновидениями, воскрешающими со-

домскую прелесть ее давно минувшей жизни.

В сумерки, на последнем, самом крутом спуске в долину, влево от дороги, внезапно открылась глубокая каменная трещина — ущелье Кельта — и проводила нас до самой долины. Смутно белела дорога, шумел поток на дне уже совсем темного ущелья, и печально краснело несколько огоньков в скалистой стене за ним: там древнейшие притоны аскетов, тысячами погребавших себя заживо в криптах, которыми сплошь изрыты скалы Кельта. А когда мы спустились в долину и повернули влево, к Иерихону, черным и тяжким обрывом, уходящим в небо, встал перед нами кряж горы Сорокадневной. И огонек, чуть заметной точкой красневший и на этом обрыве, опять напомнил о той страшной борьбе, которую впервые воздвигли здесь люди против искуителя.

Вся иорданская низменность, страна, что некогда «орошалась, как сад Господень» и на весь мир славилась легендарным плодородием, красой и греховностью Пятиградия, дворцами и твердынями трижды возрождавшегося из развалин Иерихона, поражает теперь

тем запустением, «где лишь жупел и соль, где злак не прозябает, где ни голос человеческий, ни бег животного не нарушает безмолвия». Сады Иерихона дышали в дни его славы благовониями бальзамических растений, индийских цветов и трав. «Пальмы и мимозы, сахарный тростник и рис, индиго и хлопок произрастали в долине Иордана». Об этом свидетельствует даже и тот оазис, что уцелел на местах исчезнувшего с лица земли иорданского рая, даже имя того селенья, что наследовало Иерихону: Риха — благовоние. Но оазис этот, тропически зеленеющий у подножия горы Сорокадневной, близ источника пророка Елисея, так мал в окрестной пустыне, а селенье все состоит из двух-трех каменных домов, нескольких глиняных арабских хижин и бедуинских шатров.

В сумерки долина была молчалива, задумчива. Я сидел за Рихой, на одном из жестких аспидных холмов, что волнами идут к горе, — на могилах Иерихона, кое-где покрытых колючей травкой, до черноты сожженной. Далекое Моавитские горы, — край таинственной могилы Моисея, — были предо мною, а запад

заступали черные обрывы гор Иудеи, возносивших в бледно-прозрачное небо заката свой высший гребень, место Искушения. Оттуда тянуло теплым сладостным ветром. В небе таяло и бледнело легкое мутно-фиолетовое облако. И того же тона были и горы за пепельно-туманной долиной, за ее меланхолическим простором. И туманной бирюзой мерцало на юге устье Моря, что терялось среди смыкавшихся там гор...

Но вот наступила и длится ночь. Она коротка, но кажется бесконечной. Еще в сумерки зачался таинственно-звонящий, горячий шепот насекомых, незримыми мириадами наполняющих душную чашу оазиса, и приторно-сладко запахла его эвкалипты и мимозы, загоревшиеся мириадами светящихся мух. Теперь этот звонкий шепот стоит сплошным хрустальным бредом, сливаясь с отдаленно-смутным гулом, с дрожащим стоном всей долины, с сладострастно сомнамбулическим ропотом жаб. Стены отеля, его каменный двор — все мертвенно-бледно и необыкновенно четко в серебристом свете этих тропических звезд, огромными самоцветами по-

висших в необъятном пространстве неба. Оно необъятно от необыкновенной прозрачности воздуха — звезды именно висят в нем, а на земле далеко-далеко виден каждый куст, каждый камень. И мне странно глядеть на мою белую одежду, как бы фосфорящуюся от звездного блеска. Я сам себе кажусь призраком, ибо я весь в этом знойном, хрустально-звнящем полусне, который наводит на меня дьявол Содома и Гоморры.

Я лунатиком брожу по саду и по двору отеля, но, кажется, никогда еще не было столь обострено мое зрение, слух. Все сливается в блеск и тишину. Но вместе с тем я вижу каждую отдельную искру, слышу каждый отдельный звук. Я вынимаю часы. Понимаю, что уже два, что самоцветы, плывущие в бездонном пространстве с востока, становятся все крупнее и лучистее, что мои ноги подламываются от смертельной усталости. Но разве у меня есть власть над собой?

Сад кружится в беззвучном кружении зелено-лиловых мух, их скользящих огненных вихрей. Как райское дерево, трепещет и переливается искрами сикомор во дворе. Сверху

донизу горят и блещут ими кустарники, сахарный тростник...

Много раз я пытался заснуть, входил в дом, в свою темную, горячую комнату, ложился под душный кисейный балдахин, но и здесь эти ароматы, эти скользящие искры, этот дрожащий хрустальный бред, которым околдован весь мир. Сердце тоже дрожит, тело, поминутно палимое жалами mosкитов, покрывается горячечным потом. И так звонко кричит жаба в бассейне среди двора, и так отдается ее однообразно вибрирующий призыв в этом каменном доме с раскрытыми окнами и настежь распахнутыми дверями, что я опять спешу покинуть его — и с болезненной жадностью и радостью ловлю глоток воздуха на пороге крыльца...

Крыльцо белеет все ярче, фигура спящего на нем слуги-араба стала еще чернее. Раздвоившийся Млечный Путь, густым, но прозрачно-фосфорическим дымом протянувшийся с севера на юг, совершенно отделился от неба, повис на самой середине пространства между ним и землею. Кажется, близок рассвет! Кажется, стихает, замирает бред и ропот вокруг.

Сперва по камням, а потом по теплomu песку я спешу за селение — взглянуть на долину, на Моав, на восток. Но на востоке все еще только поздние крупные звезды. Бледный серебристый свет их стоит над далеким мертвенно-бледным Морем. Бледные пески долины мерцают как бы манной. Бледные полосы тумана тянутся по извилам Иордана, — и уже смертоносная влажность чувствуется в воздухе. И бледным дымом спустилось и легло облако у подножия горы Сорокадневной, чернеющей среди звезд своей вершиной...

«Отойди от меня, Сатана».

1909

Комментарии

Рассказ впервые напечатан в газете «Русское слово», М., 1909, 25 декабря.

Бунин пишет: «В забвении почиет святая земля, возвратившаяся к первобытной нищете и безлюдности. Но незабвенная ее летопись. И великой меланхолии исполнены ее дремотные дали».